

Культура

Покой и воля Юрия Любимова

Окончание.
Начало на стр. 1

— Ваш театр открылся в 1964 году. Когда с тех пор вам работать легче и лучше всего?

— Когда удавалось сделать что-то приличное на сцене и на телевидении, то казалось: неплохие времена. А легко не работаете никогда. Великие режиссеры, такие, как Мейерхольд, говорили: делай каждый спектакль, как последний...

Я считаю, что сегодня надо приложить все усилия, чтобы делать вещи сердечные, то есть идущие от сердца, от желания выразить то, что для тебя чрезвычайно важно. Наше огромное стало гоним теперь в сторону капитализма, а он такой же безумный, как и коммунизм. Вот от этого безумия театр и должен хотеть как-то удерживать, успокаивать.

— Но все-таки условия вашей работы сейчас и в советские времена отличаются.

— Да вы знаете, не очень. Ведь именно в перестройку у меня отняли театр. Интересно, что отняли коммунисты, но уже под прикрытием демократов. Они не имели на это права. Во-первых, театр — не личная собственность, а, во-вторых, он строился как единый ансамбль. Таким образом, была исторична архитектура, а нас лишали возможности спокойно работать. И спрашивается, идет ли краденое впрок? Про творчество я не говорю, я туда не хожу.

— Когда-то Тубенко по телевидению попросил: неужели мы отдадим русский театр иностранцам?

— С этим господином я не буду вступать ни в какие polemiki. Бог ему судья, пусть живет, как хочет.

— У вас несколько гражданств. Жест — венгерки. Сын в Кембридже. Где вы по-настоящему чувствуете себя дома?

— А вы знаете, что Александр Сергеевич сказал: где хорошо, там и родина. Не обидно, что театр уже не зовет народ под свои знамена?

— Абсолютно не обидно. Я не люблю никакие знамена. За каждым знаменем стоит много крови.

— Как, по-вашему, должны строиться отношения художника с властью?

— Да желательно никак. Пусть власть занимается тем,

чтобы ее подданные получали приличную зарплату и чтобы их не волочили без надобности в кутузку. Я вообще думаю, что не стоит про нее, про власть то есть, говорить слишком много. Это ведь не дэма.

— Вы хорошо знаете своего зрителя? Как изменилась публика за сорок лет?

— Не могу похвалиться, что меня не понимают. Мои спектакли долговечны: идут по двадцать, тридцать, даже тридцать пять лет. Я не понял сути того, что назвали перестройкой, поэтому не перестраивался.

А зрители разные. То поколение, которое любило раннюю Татанку, приходит теперь с детьми и даже с внуками. Звонки забавные в театр порой случаются: обнаженка есть? С ламой можно смотреть? Оставьте четыре билета пополам. Раньше такого не было, конечно.

— Вы одним из первых поставили «Мастера и Маргариту». Спектакль «с обнаженкой» идет до сих пор, публика его любит. А два года назад на сцене Татанки появился «Театральный роман». Булгаков наш любимый автор?

— Я всегда был внутренне как-то очень с ним близок. «Мастер...» кормит театр и меня и здесь, и на Западе. Уже за одно это надо сказать «спасибо» Булгакову. «Театральный роман» я начинал готовить еще до своего отъезда за границу, но тогда мне запретили репетиции. Так что обращение к этой булгаковской вещи закономерно, хочется как-то подтолкнуть довольно длинный туннель.

— За последние годы в театре обновилась труппа, расширился репертуар. Что-то осталось неизменным?

— Мышление, язык и стиль Татанки, в основе которых — мне хотелось бы так думать — поэзия. Уже через год после создания театра я поставил «Антимиры» Андрея Вознесенского. В том же, 1965 году появились «Павшие и живые» по стихам Гудзенко, Когана, Багрицкого, Бертольди и Самойлова. Затем на нашу трибуну вскарабкался Маяковский. Из последних спектаклей театра — «Фавст» и «Венский Онегин». «Онегин» получился захватывающим и хитовым, как и сам великий поэт, из которого у нас, к сожалению, сделали икону и насаждают, как когда-

«Я не люблю никакие знамена. За каждым знаменем стоит много крови...»

то Екатерина картошку в России.

— Некоторым показалось парадоксальным, что одержимый социальной историей XX века режиссер захотел сочинить версию поэзии Серебряного века — спектакль «Да и после»...

— Это же история нашей культуры, причем блистательная. Столько прекрасных было поэтов, презиравших социальное, безразличных к политике в прямом и переносном смысле. Среди героев спектакля — Ахматова и Мандельштам, Блок, Белый, Гумилев. Из современников — Бродский и Вознесенский. Их поэзия трогает любую нормальную душу. Так же, как стихи обэриутов, которые вообще-то мало кому пока известны, к сожалению.

— Если бы Ахматова или Бродский пришли на «Да и после», как вы думаете, им бы понравилось?

— Они увидели бы, что я их люблю.

— Что, с вашей точки зрения, сейчас происходит с российской культурой, и что ждет ее и нашу страну в будущем?

— Самое страшное, что никто никому не нужен. Раньше говорили «лю лампочку». Надо научиться хотя бы мыть и чистить за собой, чтобы не было разврата. В наших школах теперь не висят портреты коммунистических вождей, но попрежнему пахнет туалетом, как в старые добрые времена. И не только в школах. В «Шереметьеве» выходящий из самолета — и сразу дух тяжелый. Как в анекдоте: это наша Родина, сынок. И не нужно мне обвинять, будто я не люблю свою страну. Можно сколько угодно кричать о величии, только криками его не возродить.

Суровое сейчас время для культуры, а дальше, наверное, станет еще сложнее. Но любая культура во всех ее проявлениях — непредсказуемая вещь. Поэтому прогнозы — дело не благодарное. Я лично прочерочного лада в себе не ощущаю. Но по своему опыту знаю, что зрители, хотя и не дежурят по ночам у билетных касок, все-та-

ки наполняют залы. Это обнадеживает.

— Считаете ли вы себя большим человеком?

— Не задумывался об этом, некогда было. Поверьте, так оно и есть. Кто-то подумает, что Любимов ломается, мол, самоуничижение паче гордости. С юмором у меня все в порядке, я не могу вообще воспринимать себя серьезно и манной величия не страдаю. А что касается режиссерской профессии... Хорошо, если у меня что-то получается процентов на семьдесят. Я режиссер среднего роста и отнющу к себе скептически.

— Слогами и человека приближается знаний и убавляется энергии. Вы опровергли этот закон. У вас есть какой-то секрет?

— Я понимаю свой крайний возраст и радуюсь жизни в людях с проявлениями. Даже ко-



отел — буржуй, он имел магазин в Охотном Ряду и был очень состоятельным человеком, умел пожить широко и красиво. Шампанское своей лошади он, правда, не заказывал, зато помню, как однажды захотел прокатить меня с ветерком, и сказал ямщику: «А ну-ка, обгони «Аннушку»» — «С наследником едете, Петр Захарович? Сейчас сделаю!». И, конечно же, легко и со свистом сделал... А спустя годы, как сын лишденца, я не попал в институт и поступил в ФЗУ. Чтобы не пропасть, нужно было самому делать себя и свою жизнь. Мало спал, много работал. Тогда-то и пригодились мне упорство, трудолюбие и азарт, доставшиеся от отца.

— Вкус к жизни — это тоже наследственное?

— Наверное, для чего-то все нам дается — и радости, и страдания. Поэтому не следует каждый раз говорить: ну вот, опять... Надо повторять: спасибо! Это хорошо! И дело делать, и про остальное не забывать.

— Чего вы не выносите и что больше всего цените в людях?

— Не выношу невраждебности и лени, а главное — предельности и вранья. Это для меня большое огорчение. Ценю мужскую дружбу и женскую красоту.

— О вас рассказывают, как о великом сердечном, часто меняющем свои привязанности...

— Я всегда переживал, когда невольно делал кому-то больно. И меня оставляли, и я уходил от своих возлюбленных. Но всегда очень расстраивался из-за этого. А вообще придерживаюсь того мнения, что мужчина должен хранить в тайне свои романы. И, конечно, это мужской взгляд на проблему, но женщинам я бы посоветовал быть терпимее. Любовь — Божий дар, награда за какие-то наши заслуги. Она может иногда длиться бесконечно.

— Есть такая традиция у жен русских гениев — посвящать себя работе мужа: Софья Андреевна Толстая, Наталья Дмитриевна Солженицына. Вы свою жизнь можете приписать к этому ряду?

— Во многом моя Каталин похожа на Наталью Дмитриевну, в преданности делу семье, заботе о нас, создании гостеприимного дома, где чисто, красиво, уютно. А ее работа в театре? Она и охранник, и

главный администратор, и ассистент, и пресс-аташе, и даже завхоз.

— Чем занимается сейчас Петр Любимов?

— Он недавно закончил университет в Англии, гуманитарий, знает пять языков. У Пети был грант, поэтому учеба почти ничего не стоила. Сын, как и я, увлекается спортом. У меня с ним очень хорошие отношения.

— У вас ведь есть еще ребенок?

— Старший сын от первого брака. Он закончил Литературный институт имени Горького, занимается редактированием. Мать его уже на том свете. Я не буду говорить о ней дурно, не потому что ее давно нет. Я всех своих жен вспоминаю только хорошо.

— И Людмилу Васильевну Целиковскую?

— Она очень меня любила, была красивой, умницей, знала несколько языков, играла на фортепиано. Но и с ней мы разошлись.

— Что вы дали своим детям, и что они дали вам?

— Я дал им жизнь, а они мне — стимул для ее продолжения.

— Сегодня вы, скорее всего, человек не бедный...

— Но и не богатый.

— Ставили ли вы перед собой задачу заработать большие деньги?

— Специальной задачи стать миллионером я никогда перед собой не ставил, но люди, умеющие достойно зарабатывать деньги, вызывают у меня уважение. Чем больше богатых людей, тем богаче держава. Хотя большие деньги — это и большое беспокойство: а вдруг опять отнимут и поделит И со-блазнами, соблазнами... Если бы я разбогател, то, наверное, бросил бы театр или работал бы спокойно.

— Вы счастливый человек? Какова ваша формула счастья?

— Формулу еще Пупкин изобрел: на свете счастья нет, а есть покой и воля... Для того чтобы почувствовать себя счастливым, надо многое испытывать. Приходится как слепоту потрудиться, чтобы потом выдать что-нибудь радостное.

— Что бы вы еще хотели сделать в своей жизни?

— Сложно ответить коротко. Буду стараться поменьше врать и работать в меру своих сил.

Евгения УЛЬЧЕНКО